

чтобы во Франции сейчас предложили сформулировать национальную идею. Она давно сформулирована в христианском мире — ценность человеческой жизни.

— **А как индивидуалистическое сознание западного человека связано с диктатурой маленького человека?**

— Это правда, мы сейчас живем при диктатуре маленького человека, и это самая страшная диктатура — он заказывает. Но на Западе элитарные идеи, элитарные художники имеют свои ниши, а поскольку общество богатое, у него еще есть силы охранять эти ниши. Однако и у маленького человека много ролей. Когда мои герои говорят о своем страдании, они велики, просто все герои Достоевского. Когда заговорим о сегодняшней жизни, они просто обыватели, недоумевающие, в чем же смысл страдания, если оно не освобождает, не очищает, не поднимает? Маленький человек в Европе — это человек, который уже умеет отстаивать пространство своего достоинства, и попробуй у него что-нибудь забрать. Французское правительство столкнулось с этим, когда попыталось отобрать у студентов их право на работу. Но если начинаешь говорить с ними о культуре, то выясняется, что большинство хотят читать французскую Маринину. Очень мало людей в обществе, желающих читать Достоевского.

— **Но по идее так и должно быть?**

— Да, это нормально. Но плохо, когда жизнь выстраивается по модели тех, кто читает, условно говоря, Маринину. В этом сложность демократии — жизнь надо выстроить по Достоевскому, но объяснить это людям, любящим читать Маринину. Там огромный аппарат этим занимается. А у нас что получается? Люди, читающие Маринину, сейчас заполнили все.

— **Тем не менее путь к небу и путь к зверю где быстрее проходят?**

— Люди, прошедшие ад, говорили мне, что человек превращается в зверя за три дня. Страх исчезновения быстро обрабатывает человека. Но про чернобыльскую книгу мне немцы и французы говорили: «Если бы это случилось у нас, то я бы посадил семью в машину и уехал. И это сделали бы все. Никто бы голышом не пошел таскать графит на крыше реактора. Вы, русские, удивительные люди». Действительно, сложно разобраться с нашим человеком. С одной стороны, устроим Чернобыль, а с другой — будем его спасать голыми руками.

— **Если бы эти люди тогда понимали, что такое радиация, делали бы они то же самое?**

— Я задавала это вопрос. Некоторые были обижены и говорили, что нет. Но один вертолетчик, от которого уже остался один скелет, сказал: «Повторил. Надо было, а кто бы защитил?» Наша культура и религия выработали в людях жертвенность, это огромный потенциал, и им еще долго власть сможет злоупотреблять.

— **Вы пишете не только про маленького человека, но и про великую утопию. Что вы вкладываете в это понятие?**

— Великая утопия — это социалистическая идея, которая будет жить вечно. Я хочу, чтобы маленький человек сам рассказал, как он поверил в социалистическую идею, как он умирал, как он убивал, был счастлив или несчастлив в ней, какие у него были идеалы.

— **Общественный фонд говорит: 70% людей отвечают, что у них нет сегодня идеала.**

— Слово «идеал» из старого лексикона. Сейчас у людей программа, проект, цель. Они ходят, например, в спортивные залы, добиваясь сходимости с любимой актрисой.

— **То есть нечто материальное, тогда как идеал заключает в себе некоторые духовные представления о мире.**

— Возникают новые слова, и они отражают новую реальность. Духовность тоже материя не постоянная. Возможно, сегодня она имеет другое наполнение.

— **Духовность — это осмысление мира, которое становится твоим внутренним переживанием.**

— Когда я разговариваю с людьми моего поколения, то мне интересно только в том случае, если они говорят о своем опыте страдания. С молодыми интересно говорить обо всем. Появилось много новых увлечений — и религией, и восточными учениями, и мистикой. Это все обращено к внутреннему миру. Это тоже форма духовности. Понятие духовности меняется, это надо отслеживать, а не клеить ярлыки.

— **Авторитеты для закрытого общества, а модели для открытого?**

— Да, для открытого, когда человек относится к жизни как к творчеству. Человек все больше превращается в паучка, он просто тклет свой мир, и тклет его из многого. Человек — это путь, это долго. Другое дело, сколько и что усваивается на этом пути. Помню этот ужасный случай, когда мальчик покончил

— **Современный язык визуален. Вас не огорчает, что картинка подменила слово?**

— Это не так. Слово все равно ждет. Я видела те залы, в которые сотни людей приходили слушать и Умберто Эко, и Поля Велерье.

— **Но здесь не приходят.**

— У нас нет таких личностей или они в тени.

— **Почему?**

— Мы оказались в ловушке, составленной нашей культурой борьбы. Я сейчас пишу книгу о любви. Книгу о любви мне тяжелее писать, чем все книги о войне. Мы совсем не умеем об этом говорить.

Если у французов в языке десять слов о теле женщины, то у нас это огромное пространство — наслаждение, радость, тайна — не освоено. У нас нет стройматериала в душе человека, кроме как для амбразуры. Почему богатые такие заборы строят себе? Это связано не только с опасением за незаконные деньги, но и с тем, что не узаконено счастье. В культуре не узаконено. Если Мандельштам, когда его жена спросила о счастье, сказал: «А почему ты решила, что мы созданы для счастья?» У нас нет традиции проживать свою жизнь. Есть традиция положить свою жизнь, отдать свою жизнь. Это совершенно другая культура.

— **Может ли она измениться?**

— Думаю, что да. Человечество повышает ценность всего живого. Мы начнем ценить воду, натуральное яблоко, потому что скоро их не будет. То есть начнем ценить жизнь, не выращенную в пробир-

— Я и вернулась к книгам о войне, потому что поняла: мир стоит на грани тотальной войны. И самое странное, что демократическая супердержава на новые вызовы смогла ответить только архаическим способом. Она опять стала убивать людей, а не идеи. Мы увидели, что когда человеку страшно, а культура не может подсказать ответ, то поднимаются архаические инстинкты. Это свидетельство растерянности и страха, ведь мир везде потерял ощущение стабильности.

— **Это свидетельствует о кризисе идей в мировом масштабе?**

— Да. Человек настолько выскочил в другое пространство, настолько все скоростно меняется, что культура не справляется с новой реальностью. Все чаще речь заходит о мировом кризисе. И что интересно, я во Франции не слышала, что спасение придет из России. Нам кажется, что наша жизнь некрасивая, неприглядная, а они смотрят сюда с надеждой, чувствуют, что здесь есть энергетика, живая жизнь.

— **У вас много книг издается на Западе, что им в них интересно?**

— Думаю, их интерес связан со страхом жизни. Им кажется, что у нас есть опыт страданий. Нельзя сказать, что только русские страдали, но благодаря Достоевскому, Толстому, Солженицыну мы смогли миру больше об этом сказать. Тут нам доверяют, и тут ищут мужество жить, мужество идеализма. Жить только по прагматичным законам скучно. Когда перевешивает биологический человек, это тоже страшно. Достоевский, у которого на все есть ответы, говорил, что русскому человеку всегда будет мало процентов с доходного домика, и наша метафизичность их привлекает.

— **Когда вы про любовь говорите, что рассказываете?**

— Больше говорят о невозможности любви, о трагизме.

— **Жизни или любви?**

— Любви. Любовь — это жизнь. В нашей культуре это ценность непреходящая. В Европе настроены на радость ежедневную, спокойную радость. Мы — на сияние и восхождение. Отсюда большое искусство.

— **О чем охотнее говорят, о смерти или о любви?**

Одна из главных причин наших неудач — малокультурность власти

в собой, потому что не смог в школе заплатить за какую-то ерунду. И учительница его унижала за это. Проблема неравенства потрясла маленькое сознание, и оно не выдержало. Человек страшен, если не защищен культурой.

— **Культура защищает сознание?**

— Да. Она дает точки опоры, силы не суетиться... Только она должна научиться говорить об этом современным языком.

ке. Это мы пока заняты сугубо социальными вызовами. Но впереди нас ждут вызовы разума, то, что Достоевский обозначил как вызовы Богу. Что такое взять и сделать человека не по божественному замыслу, а по человеческой кальке? В ближайшие 50 лет мы удивимся миру, в котором окажемся.

— **А вам не кажется, что мир движется скорее в сторону войны, а не естественной жизни?**



Светлана Алексиевич. Кабул 1988 год

— О смерти. Я приходила к людям, которые были ударены этим. Им хотелось высказаться. На Западе мой жанр вряд ли мог работать. У них все собственность, и личная жизнь тоже. А у нас соборность — не просто слово. Я выросла в деревне, где все на миру, все всё знают, обо всем говорят. Отсюда и жанр мой родился — через голоса. И самый важный разговор — о любви и смерти. Ведь нет больше тайны, чем любовь и смерть. Война — третья тайна. Есть тысяча объяснений, но все равно ничего не понятно. Что такое писатель? Человек, который додумывает вещи до конца и имеет свою версию мира. Время ответов на вопрос — что делать? — прошло. Единственное, что знаю: надо соединять в себе две жизни — свою крошечную историю и большую историю. Быть человеком для всех и человеком для себя.

— **Художник всегда живет в конфликте с властью, в конфликте с массовым сознанием и конфликте с самим собой. Что самое сложное для вас?**

— Самое сложное для меня — не противостояние власти. Это целая культура — спор царя с поэтом. И уехала я за границу не из-за Лукашенко. Честные люди там тоже живут, и я туда приезжаю. Я уехала перестроить свой инструмент внутренний, свой зрачок, потому что на баррикаде ты только мишень видишь. Я видела больших писателей, которые пропали, став или тусовочными, или баррикадными. Я уехала, поняв, что мой зрачок сузился. Иногда итальянский пейзаж возвращал мне нормальное зрение или давал другое измерение. В Париже парень задаст мне вопросы по «Цинковым мальчикам», а я не могу понять, о чем он спрашивает. Потом выяснилось, что он с Канарских островов, никогда не встречал воевавших людей и понятия не имеет, что это такое. И вдруг слышит массу вещей, травмирующих его. И я увидела впервые растерянного человека перед тем, с чем я выросла. Почему наши люди ностальгируют, хотя успешно устроены в чужих краях? Потому что они другие, в тот мир не так легко войти, там надо вырасти без этой памяти, без этих ощущений.

Но и у меня появился другой взгляд. Пространство выросло, другие вопросы к жизни родились. Книга о любви была бы другая, если бы я не пережила этого.

— **Почему?**

— Потому что я поняла, что люди иначе живут. Я и сама пережила очень сильное чувство, среди другого пейзажа, среди других вещей. Я прихожу к человеку, и его текст зависит от того, счастлив он или несчастлив, сама я счастлива или нет. Ведь документа нет в чистом виде, это история чувств. Мы не способны проникнуть в реальность как она есть. Из времен перестройки мы запомнили не танк, куда залез Ельцин, а рассказы людей, как он залез на этот танк, что он говорил, с какими лицами люди слушали.

Я не говорю, что танка не существует. Но меня интересует процесс превращения танка в чувство. В принципе не важно, что в Троянской войне убивали из лука, а в Афгане из гранатомета. Важно, как это человек делал, что с ним происходило в этот момент. Исследованием этого я и занимаюсь в своих книгах.